

# МАКСИМ ГОРЬКИЙ

ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ  
И ДУМ,  
ОТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
КОТОРЫХ ОТСОХЛИ  
ЛУЧШИЕ КУСКИ МОЕГО  
СЕРДЦА

# Максим Алексеевич Горький

## Изложение фактов и дум, от взаимодействия которых отсохли лучшие куски моего сердца

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=170394](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=170394)

*М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах: Государственное  
издательство художественной литературы; Москва; 1949*

### Аннотация

Впервые напечатано в сборнике Института мировой литературы им. А.М.Горького «Горьковские чтения», 1940. «Изложение фактов и дум» – черновой набросок. Некоторые эпизоды близки эпизодам повести «Детство», но произведения, отделённые по времени написания почти двадцатилетием, содержат различную трактовку образов, различны и по стилю. Вся последняя часть «Изложения» после слова «Стоп!» не связана тематически с повествованием и носит характер обращения к некоей Адели. Рассуждения же и выводы о смысле жизни идейно близки «Изложению». Это и послужило основанием для того, чтобы печатать черновую рукопись как единое целое. Написано в 1893 г. В собрания сочинений не включалось. Печатается по рукописи, хранящейся в Архиве А.М.Горького.

*Адель!*  
*Почему ты так дурно перетолковываешь все,*  
*что я тебе ни скажу?..*  
*(Из немецкого романа).*

*Вкушая, вкусих мало меда и се —*  
*аз умираю.*  
**Бытие II.**

5 апреля 1893 г.

## **ИЗЛОЖЕНИЕ**

1868 года, марта 14-го дня, в два часа ночи природа, по свойственной ей любви к злым шуткам и для пополнения общей суммы созданных ею в разное время нелепостей, сделала своей объективной кистью размашистый мазок — и на свет божий явился я.

Сам я этого обстоятельства, несмотря на его важность, не помню, но бабушка говорила мне, что, как только мне был придан надлежаще человеческий вид, — я закричал.

Я хочу думать, что это был крик негодования и протеста.  
Первый оттиск в моей памяти.

По узкой, тёмной улице, между громадных грязно-красных домов, над которыми, вместо неба, растянут полог из старого, серого коленкора и сквозь него просачивается вода, падая на землю мелкими холодными каплями, — движется

похоронная процессия.

Хоронили моего отца. Я сижу на коленях бабушки, бабушка на пролётке, а пролётка по ступицы колёс в грязи, и её брызги из-под колёс разлетаются во все стороны. Я слежу за ними и вспоминаю отца.

Это высокий человек с большими глубокими серыми глазами, звучным мягким голосом, и больше ничего. Впрочем, он меня звал Бутузом, я его папой, на что оба мы, очевидно, имели право, но что ничуть не оригинально и не вызывает во мне решительно никаких чувств.

Вот мы въехали в болото, оно же и кладбище. Гроб отца понесли на руках и поставили на край ямы, до половины наполненной водой, попы – их было два, – один большой и так густо заросший волосами, что на лице его видны были только нос, острый и красный, и тёмные страшные глаза, другой маленький негромко визжавший, – они немного попели, и отца опустили в яму, откуда испуганно выскочило много лягушек. Это меня испугало, и я заплакал. Подошла мать, у неё было строгое, сердитое лицо, от этого я заплакал сильнее. Бабушка дала мне крендель, а мать махнула рукой и, ничего не сказав, ушла. Всё об отце. Мало.

Я бы, наверное, больше оставил моим детям и уж во всяком случае не забыл бы извиниться перед ними в том, что они обязаны существовать по моей вине (наполовину, по крайней мере).

Это обязанность каждого порядочного отца, прямая обя-

занность.

Второй. Пароход. Глухой шум. Комната. Мимо окон куда-то бежит и пенится очень много воды. Я сижу у окна, круглого, как блин, и смотрю: кроме меня в комнате маленький гробик на столе, среди её моя мать и бабушка. Я знаю, что в гробе лежит мой брат Максим, родившийся в день смерти отца и умерший через восемь после её.

Этот поступок его указывает на то обстоятельство, что он обладал недюжинным и очень проницательным умом. Вот вода мимо окон начинает бежать тише и спокойней, шум наверху удваивается, слышен тяжёлый топот ног, и в комнату входит человек весь в синем, в руках его белая фуражка с лентами, а на лице, большом и страшном, красная полоса, перерезывающая ему наискось, слева направо, лоб и щёку.

– Прикажете тащить? – спрашивает он. Я плачу, ибо не хочу, чтоб кого ни то из нас утащил синий человек, а он подходит к столу и, взяв брата подмышку, уносит его, крестясь. У матери краснеет лицо, бабушка вынимает откуда-то красный платок и тычет его себе в глаза, что-то ревет громко и грозно, затем всё и сам я куда-то проваливается.

Маленькая комната на чердаке. Светло, тепло и скучно. Я сижу на стуле, передо мной толстая книга с крупными смешными буквами, против меня рыжее злое лицо деда, я спрашиваю его: что такое «блажен муж, иже не иде на совет нече-

стивых»? Это не дядя Яков?

– Дурак! – говорит дедушка. Но не объясняет, кто дурак – блажен муж или дядя Яков.

– Болван! – снова говорит дедушка, и у него трясётся бо-рода. Болван – это уж я, – значит, и дурак я. Такое умоза-ключение несколько меня не обижает, и я, нараспев произ-нося – «и на пути грешных не ста», ковыряю ногтем капель-ки воска на страницах книги. Дверь открывается, и в комнату входит бабушка.

– Отец! – говорит она. – Какой-то иностранный генерал приехал и спрашивает тебя.

– Что-о? – Дедушка медленно приподнимается, смешно уставив глаза на дверь, а в ней стоит высокий человек в тре-угольной шляпе с золотом, в коротком красном кафтане с красными же громадными пуговицами, в чулках выше колен и в маленьких башмаках с красивыми пряжками. На его ли-це, грозном и суровом, длинный красный нос, загнутый кни-зу, с шишкой на самом конце.

– Здравству-уте, В-ш-ство! С-садитесь п... пож... – весь бледный, дрожит дедушка и смешно бегаёт по комнате. Ге-нерал смеётся, бабушка тоже, дед таращит глаза, и я узнаю мою мать. Мне обидно и боязно.

– Мамаша! – кричу я. – Скиньте всё это. – Она ещё громче смеётся и вдруг угрожающе говорит:

– Теперь, если ты не перестанешь озорничать и плохо учиться, – я отдам тебя в солдаты, и ты будешь заряжать

пушки и садиться на них верхом, когда они станут стрелять!

Я их боюсь, этих проклятых пушек; когда они стреляют в лагерях, стёкла в окнах дрожат от страха, и мне кажется, что вот выстрелят ещё раз и земля треснет, а наш дом провалится. Но всё-таки мне обидно, что моя мать, всегда такая строгая и красивая, – теперь так некрасива и смешна, в ней нет уже ничего, что бы пугало меня, и так много такого, что не нравится мне, а больше всего эти пуговицы – я никогда не видал таких гадких и огромных пуговиц.

– Скиньте, мамаша, это нехорошо, – прошу я.

– Дурачок! – смеется она. – Теперь святки, и я нарядилась, а завтра снова буду такая, как всегда.

Но я хочу, чтоб она была сейчас такая, как всегда, и снова, уже сердясь, кричу, чтоб она разделась. Она смеётся. Тогда я вскакиваю со стула и, схватив одну пуговицу на её красном кафтане, отрываю её, крича, злясь и плача.

– Ах ты, щенок! – Первая затрещина не укрощает меня, но после нескольких я оказываюсь забитым в угол, где и остаюсь один, ибо все уходят, потушив огонь и заперев снаружи дверь. Темно, боязно. Я перестаю плакать и вслушиваюсь, как внизу шумят. Там танцы, музыка, смех. Перед моими глазами плавают что-то громадное, чёрное и по стенам прыгают золотые искорки, вспыхивая и угасая. Затем я сплю.

Здесь вспоминаю я сон, один из тех ласкающих душу, красивых снов, которые никогда не забываются. Может быть, я

сделал бы лучше, если б написал его многоточиями, а не словами, но у меня есть цель – немного странная, немного фантастичная, может быть, недостижимая – проще говоря, сумасшедшим и больным человеком созданная цель.

Но пусть – это так, – всё дело в том, что эта цель исключает всякое умолчание.

Окошко открыто, и в него из сада непрерывной волной льётся в комнату шелест и запах сирени и яблонь. Я лежу в своей постели и стараюсь пересчитать, сколько звёзд на том клочке неба, который смотрит в окно. Он мал, но всё-таки так густо расшит звёздами, что я то и дело сбиваюсь.

– Ты что не спишь? – спрашивает мать. Она сидит около меня и, очень часто вставая, смотрит из окна вниз в сад.

– Я не хочу! – отвечаю я.

– Спи, спи, чего не хочу! – недовольно говорит она.

Но я хочу её поцеловать, о чём громко и заявляю. Сегодня она мне нравится – и я её люблю чисто и крепко, без этой боязни и смущения перед ней, двух чувств, всегда присутствующих в большей или меньшей степени среди всего остального, с чем я подхожу к моей матери. Она целует меня рассеянно и повторяет: «спи! спи!»

Но мне не нравится этот поцелуй, и, помолчав немного, я начинаю петь.

– Спи! – кричит мать. Я умолкаю. Мне грустно и хочется быть обиженным.

– Спи, говорят тебе! – Я всё-таки пою – и добиваюсь сво-



его, меня обижают.

Это очень больно и сладко; всхлипывая, я начинаю дремать – чувствую маленький тёплый поцелуй матери, улыбаюсь и вижу сон.

В комнате много лунного света, и мне видно из-за полога моей кровати, как кто-то высокий с бледным лицом и большими чёрными усами и с длинными волосами, упавшими ему на лоб и щёки, целует и ласкает мою мать, одной рукой обняв её талию, а другой прижав её голову к своей груди и глядя ей волосы. Мать подняла своё лицо кверху и смотрит ему в глаза. Вся она такая красивая, добрая и нежная теперь, я вижу, что ей хорошо, и очень рад, как потому, что её никто не любит дома, кроме бабушки, так и потому, что теперь она будет больше любить меня, ибо знает, как это хорошо, когда тебя ласкают.

– Я ждала, ждала тебя, – говорит она тихо, но звучно, – и как человек больше ждала, чем как женщина. Тяжко, невыносимо мне тут, – все ненавидят, кроме матери, и та боится открыто приласкать меня, и я какая-то оброшенная, одинокая, – но я не уступаю им ни на шаг, не хочу, не могу подчиняться и...

– Полно об этом! Скоро уж конец, скоро. Потерпи ещё – а теперь поцелуй меня!

– говорит человек с чёрными усами. Он говорит невыразимо ласково, и глаза у него блестят как-то слишком уж хорошо.

Я тоже хочу, чтоб он приласкал меня, – а потому говорю:  
– Мама! Пусть он и меня поцелует, один раз хоть только!  
Они оба вздрагивают и делают движение ко мне.

– Ты всё не спишь? – говорит мать. – Как же ты это? Нужно спать, Лёня. – И проводит дрожащей рукой по моей голове, улыбаясь мне.

– Я сплю уже давно и вижу сон, – успокаиваю я её. – А этот человек очень хорош, мама! – уверенно говорю я, глядя на человека, с задумчивой улыбкой разглядывающего меня.

– Да? Я тебе нравлюсь, маленький мальчик? Ах, как я бы хотел познакомиться с тобой поближе! – говорит он и, взяв на руки, целует, раз, два и несёт к окну.

– Вы приходите к нам каждую ночь, вот и всё. Ведь вы сон и живёте только по ночам? – Они оба с матерью тихо смеются.

– Смотри, ты простудишь его! – говорит мать.

– Нет, ничего. Впрочем, дай мне одеяло! – Меня завёртывают в мягкое, тёплое одеяло, и я, лёжа на руках человека с чёрными усами, слушаю, как он говорит мне о себе и других, таких же красивых, как он, снах, которые живут там далеко, где небо обнялось с землёй.

Поглядываю на него и на мать и впиваю в себя тёплые, ласковые звуки сказки вместе с запахом сада и засыпаю или тону в чём-то, или улетаю куда-то.

А поутру, проснувшись, вижу мать, она сидит у моей кровати и покойна, сурова, как всегда. Я лежу и думаю, глядя

на неё и вспоминая сон.

– Ну что, проснулся? – спрашивает мать. Я утвердительно и печально киваю головой. – Расскажи мне, что ты видел во сне? – спрашивает она и внимательно, строго смотрит мне в глаза. Я рассказываю.

– Ну вот что, Лёня, этот сон не нужно говорить никому другому – ни бабушке, никому! Потому что видеть такие сны грех.

Я спрашиваю, почему грех. Она объясняет длинно и скучно. Я же, ничего не понимая, одеваюсь...

Весь покрытый струпьями оспы, я лежу на кровати и смотрю на своё лицо в зеркало против его. Отвратительная, гнойная маска на нём наводит на меня уныние, и я точно оцепенел. Чтоб я не царапался, мне привязали руки и ноги к койке. Кроме бабушки, никто не ходит ко мне из боязни заразы, и я по целым дням одиноко лежу, подавленный мерзким видом моего лица. Мне было тогда семь лет, и, кажется, я ещё не умел думать, но уже чувствовал.

Бабушка не идёт, хотя давно пора уж зажечь огонь. Я рисую себе, где теперь бабушка и что она делает.

И вдруг мне кажется, что она лежит за дверью в сенях в одной рубашке с перерезанным горлом, так же, как у курицы, зарезанной однажды нашим дворником Романом.

Исполненный ужаса, я вскакиваю,рываю повязки, прикреплявшие меня к койке, бросаюсь в окно, выбиваю его,

лечу вниз и падаю в мягкий сугроб снега.

Лежу хворый, – у меня отнялись ноги, оттого что я пролежал в снегу немножко долго. В комнату ко мне входит бабушка, на руках у неё свёрток, и в нём что-то возится и пищит.

– Это что? – спрашиваю я.

– А это бог послал тебе братца, – говорит бабушка и показывает мне из свёртка сизо-красного ребенка, сморщенного и смешного.

– Его родила мама?

– Ну, конечно, не дедушка!

Всё это не возбуждает во мне особенного любопытства, и я лежу молча.

Входит дед и, вздыхая, садится ко мне на кровать.

– Ну вот, слава богу, дождались! – говорит он и нехорошо смеётся.

– Э, полно, отец, и не этикие сани подламываются! – ласково говорит бабка и, подходя к нему, развёртывает ребенка.

– Прочь, старая шкура! Это ты виновата, ты! За дочьрю не могла усмотреть!

У, ведьма! – Дед рычит, его рыжая борода дрожит и прыгает, лицо делается страшным, и он бьёт бабушку, сбивая с неё чепец.

– Отец! Что ты, опомнись! – испуганно отступает она.

– Убью! Вон с глаз моих!

Дед частыми взмахами рук колотит по голове и плечам бабуку, она, отступая задом к дверям, беспомощно вертится и старается предохранить ребёнка от кулаков деда, он визжит: «вот тебе! вот тебе!» Я испуган и возмущён и тоже кричу во всё горло. Наконец бабушка вырывается за дверь, а дед, устало вздыхая, прислоняется к печи и оттирает со лба трудовой пот.

– Ты чего орёшь? Молчать!.. – говорит он мне, грозно замахиваясь рукой.

Но я ощущаю прилив ужаса и храбрости вместе и не молчу.

– Молчать, говорят тебе! – скрипя зубами, склоняется надо мною дед.

– Дурак, дурак, рыжий дурак! – что есть сил ору я ему прямо в лицо.

– Ах ты, разбойник! Да ты весь в отца пошёл! – И, стукнув меня кулаком в лоб, дед бежит вон, стоная: «изверги! мучители!»

Я очень доволен тем, что весь в отца пошёл, хотя лоб больно.

...Это была первая драка, уцелевшая в моей памяти, с неё начинается длинный ряд более или менее эффектных побоищ, неукоснительно происходивших по два-три раза в нашей семье. Приходили пьяные дядья, били стёкла и физиономии деда и бабуки, их тоже били, отправляли в полицию; что делили между собой мои родственники, я не знаю, но сраже-

ния, очень пугая меня сначала, – после зародили и во мне воинственные наклонности, побуждавшие меня вступать в бои и исчезающие по мере наступления момента активного участия в сражении, заменяясь диким страхом.

Но однажды я не вытерпел.

Вспоминаю этот момент с удовольствием и с него веду историю развития моей самостоятельности и уважения к себе. Раз я гулял в саду и услышал, как в комнате взвизгнула мать. В момент я был около её, – она стояла, загородившись столом, с тяжёлой пепельницей в руках и говорила стоявшему против её дяде Михаилу:

– Уйди, Мишка! Ты подлец, уйди, разобью голову!

– Врёшь, не уйду, пока не вздую! – шипит враг и, обходя стол, подвигается к ней. Она замахивается, но я в это время прыгаю и, охватив ногу дяди руками, с диким наслаждением и страхом крепко вонзаю зубы в его икру.

Происходит что-то отвратительно-страшное.

Вечером я прихожу в себя весь истолчённый и поломанный. Мать, бабушка, дед – все так ласково смеются, и дядя Яков, целуя меня, говорит:

– Герой ты у меня, Бутуз!

Я горд, счастлив, обнимаюсь со всеми, плачу и порю какую-то чепуху, заставляющую всех ещё сильнее смеяться, в чём они, конечно, не виноваты, ибо с давних пор люди хвалят и уважают друг друга за то, что достойно наказания. На другой день к вечеру я встал на ноги и уже предлагал двою-

родному брату, старше меня, пойти со мной колотить кого ни то из уличных товарищей, и, когда он почему-то отказался от такого приятного предложения, я презрительно сказал ему:

– Ты – трус!

– Знаешь что? – говорит как-то раз мой двоюродный брат, сын дяди Якова, – знаешь что – в погребе много крашенных яиц, пойдём утащим их и продадим, и потом на деньги купим шоколаду и бабок?

Я немножко боюсь, но, подумав, соглашаюсь на операцию. Мы с братом лезем в погреб, набиваем карманы и пазухи яйцами и меняем их соседним мальчишкам на целый ящик бабок. Целый день мы наслаждаемся игрой в них на дворе – на улицу меня редко пускают из боязни вредных для моей нравственности знакомств, – а вечером дед призывает нас к себе и сурово спрашивает:

– А не знаете ли вы, ребяташки, кто это украл яйца из погреба?

– Не мы! – твёрдо отвечает брат и подтверждает этим ответом справедливость правила – «поспешай медленно!»

– А я думал – вы, – говорит дедушка, – ан это не вы! – и с многообещающей миной смотрит на меня. Я молчу, мне неловко, стыдно, страшно. Дед, мать, бабушка – все смотрят так строго.

Отсюда я начинаю помнить себя думающим и лгущим.

– Ну что ж ты молчишь, Лёня? – спрашивает дед и иронически усмехается.

– Это не я! – смело глядя всем в глаза, отвечаю я.

– Может быть, ты, говори прямо, не скрывай, хуже будет, – с угрожающим спокойствием сообщает дед. Я отрицательно качаю головой.

– Ну, так это твоё дело, Александр, сознайся скорей, да и всё тут.

Тот смотрит на меня и, потупив глаза, говорит робко и приниженно:

– Простите!.. Это мы...

– Он врёт! Я не трогал! – громко заявляю я и, полный гордости и спокойствия и озлобления на брата, в упор смотрю на него.

– Верно? Как дело было, Саша, говори! – спрашивает моя мать.

Он говорит всё, как было, и это мне кажется подлой изменой с его стороны.

– Он врёт, врёт, врёт! – топаю я ногами. – Я ничего не знаю и не хочу знать!

– А ну, побожись? – предлагает дед. Я никогда не боялся бога, это я хорошо помню. Всё, что мне говорили о нём до этой поры, не вызывало у меня никаких чувств к нему. Мне говорили – на небе живёт бог. Не мог я себе представить, чтоб кто-то не боялся жить так высоко и один. Мне говорили – он управляет жизнью и всеми людьми.



Но всеми людьми в нашем доме управлял дедушка, а не бог, а то, что было где-то за пределами нашего дома, не интересовало меня, потому что я и не соприкасался с ним.

Мне говорили, что бог родит людей, но я чаще слышал, что это делают женщины. Нужно молиться богу. Я молился. Нужно слушаться его. Я очень боялся деда, но и его мало слушался, а бог? Он может дать всё. Но мне ничего не надо было.

По всем вышесказанным причинам я встал на колени и торжественно отрёкся от участия в воровстве яиц.

– Ну, Сашка, и вспорю же я тебя теперь! – сказал дед. – А ты, Лёня, иди и поучись. – Я пошёл поучиться.

Брат приниженно раздевался, а я смотрел на него, и не то презрение, не то жалость наполняли меня. Мне было холодно от той сосредоточенности и важности, с которыми старшие готовились к экзекуции.

Но всё-таки я молчал.

Брата пороли, и он кричал:

– Не буду! не буду! – Кричал он громко, плаксиво, подло, а я дрожал отчего-то и молчал.

– Не будешь? Ага! а зачем ты сразу не сказал, что это ты сделал? – зло и тихо говорит дед, жестоко нахлёстывая брата. – А Алексея зачем оговорил? Шельма лживая! Он не был с тобой, сознавайся, не был?

– Ой, не был, не был, не был! – всё громче и жалобней кричал брат.

– Он врёт! – стараясь говорить покойней, но весь содрогаясь от волнения, громко сказал я.

– Что? – удивился дед, останавливая сечь.

– Он врёт – я был с ним вместе и воровал! – Все засмеялись. Они полагали, что я лгу на себя из благородного побуждения спасти брата. Но я очень спокойно показал им, что я был, и брат злобно подтвердил это. Я был рад, доказав мою вину, и мне было теперь неизмеримо приятно быть виноватым.

– Зачем же ты клялся? – удивлённо спросили меня. – Ты лгал? Зачем?

Ну, этого я не мог объяснить им!

– Так! – ответил я. Я, впрочем, мог бы им объяснить, у кого я учился лгать, но об этом меня не спросили они.

– Так? Хорошо! – Тут меня стали пороть за неуместную ложь. Я кричал:

– Буду лгать! Буду! Буду! Буду!

Вспороли очень солидно.

Это маленькое событие имело своим последствием то, что очень оттолкнуло меня ото всех и всех – кроме бабушки – от меня. С этого времени на меня стали обращать внимание с исключительной целью надблести, не совершаю ли я какой ни то пакостной штуки. Я жил самой шаблонной жизнью ребёнка зажиточно-мещанского круга и семи лет: гулял на дворе и в саду, учился читать по часослову и псалтирю и писать на грифельной доске и т. д. Очень не любил ходить в церковь с

дедом – он, заставляя меня кланяться, всегда и очень больно толкал в шею.

Часто я чувствовал что-то скучное, холодное и обидное и тогда уходил в сад.

Там, за баней, была яма, поросшая бурьяном, я забирался на дно её, лежал и смотрел в небо. Оно – чем пристальней смотреть в него – становится всё глубже, и это всегда навело на меня тоскливо-меланхоличное настроение. Жизнь в то время была где-то далеко от меня – звуки её чуть приносились ко мне на дно ямы, и когда по саду пробежал ветер, то бурьян по краям ямы и на дне её шумел сухим, унылым звуком. Я лежал и иногда плакал о чём-то, а иногда стискивал зубы и, задерживая дыхание, вслушивался в шелест деревьев сада. Мне нравилась эта отчуждённость – в ней есть нечто льстящее самолюбию и поднимающее человека выше его собратьев. И всегда после двух-трёх часов такого уединения мои родные казались мне похуже меня, а нужно сказать, что только редкие, истинно благородные натуры, может быть, неспособны, созерцая ниже их стоящих, ощущать при этом чувства самодовольства. Очень наивно было бы думать, что для души ребёнка такое чувство было бы сложно.

Однажды, возвращаясь с прогулки по полю с дядей, я встретил мою мать под руку с высоким молодым человеком. Острая бородка, большие серые глаза, стройная фигура, мягкий, ласковый голос – и всё-таки он мне не понравился. Мать

строго взглянула на меня и сказала, что давно бы пора идти домой. Её спутник тоже оглядел меня и что-то спросил у матери. Она засмеялась и покраснела, гневно сверкнув глазами в моё лицо. Придя домой, я встретил какую-то незнакомую даму.

– Он у вас большой! – сказала она. – Здравствуй, милый! – Она говорила, скрипя, как ржавая петля, и так ласково скалила зубы – острые, длинные, белые – точно хотела укусить меня. У неё было зелёное лицо, зелёные глаза, зелёные ленты на шляпе, она была одета в чёрное платье, это делало её ещё более зелёной, и поэтому я убежал от неё.

Затем я встретил бабушку, и она сказала мне, что скоро у меня будет новый отец. Я не ощущал ни малейшей потребности в отцах, ни новых, ни старых, и поэтому на её заявление не обратил было внимания, но вечером собралось много гостей, меня представили господину, которого я встретил с матерью, и сказали мне, что это мой новый папа. Новый папа ткнул меня усами в щёку и сказал, что купит мне ящик красок.

Это хорошо. Затем подвели меня к зелёной даме и сказали, что это моя новая бабушка.

Новая бабушка была не очень нова и имела невероятно длинные и тонкие пальцы на руках.

Она запустила мне их [в] волосы и начала спрашивать о чём-то, но мне не хотелось с ней говорить, и я искал глазами мать. Вот она. Она сегодня более красива, чем всегда, и,

должно быть, очень добра – у неё так хорошо сверкают глаза. Я подхожу к ней и прошу её позволить мне завтра идти в лагери с дворником и сложить с меня обязанность выучить длинное стихотворение о пыльной дороге.

Но она толкнула меня в плечо и сказала: «Пошёл!» – Это меня удивило: я уже знал, что когда кому ни то хорошо, то он делается добрым, и потому начал просить снова.

– Отстань, говорят тебе! – крикнула она и щёлкнула меня в лоб. Мне стало больно.

На другой день было венчание матери с новым папой. Мне было грустно, я это прекрасно помню, и вообще с того дня в моей памяти уже почти нет пробелов. Помню, все родные шли из церкви, и я, видя их из окна, почему-то счёл нужным спрятаться под диван. Теперь я готов объяснить этот поступок желанием узнать, вспомнят ли обо мне, не видя меня, но едва ли этим я руководствовался, залезая под диван. Обо мне не вспоминали долго, долго! На диване сидели новый отец и мать, комната была полна гостей, всем было весело, и все смеялись, мне тоже стало весело – и я уж хотел выползть оттуда, но как это сделать?

Но пока я раздумывал, как бы это незаметно появиться среди гостей, мне стало обидно и грустно, и желание вылезть утонуло в этих чувствах. Наконец обо мне вспомнили.

– А где у нас Алексей? – спросила бабушка.

– Набегался и спит где ни то в углу, – хладнокровно отве-

чала мать.

Я помню, что она сказала это именно хладнокровно, я так жадно ждал, что именно она скажет, и не могу не помнить.

– Его пора отдать в училище, – сказал дед. – Скоро уж семь годов минет.

– Да, пора! – согласилась мать. – А то он становится таким сорванцом, что не справишься.

– Несуразный парень, – добавил ещё дед. – То озорничает так, что хоть десять раз в час пори, то точно сонный ходит целый день.

И затем обо мне забыли, и этого я никогда не забуду, хотя и хотел бы забыть...

Вскоре мать и вотчим уехали в Москву, и я остался с дедом и бабкой. Теперь за мной следила только одна пара глаз, глаза бабушки ничему не мешали, потому что она любила меня и ещё потому, что была часто пьяна. Пила она сильно и однажды чуть не умерла от этого. Помню, как её отливали водой, а она лежала в постели с синим лицом и бессмысленно раскрытыми, страшными, тусклыми глазами. Я тоже очень любил её, она была всегда так добра и смешна и так хорошо рассказывала мне славные пугавшие меня сказки, начиная их всегда словами: «И вот, сударь ты мой!..» У неё был большой, изрытый морщинами нос, красный, когда она была выпивши, и всегда оттягивавший её голову с густыми чёрными волосами книзу. И ещё у неё были глаза, чёрные, большие, всегда – даже когда она сердилась на меня – ласковые.

Раз её, пьяную, стал бить дед, а она упала на пол и лёжа ругала его: «Бей, рыжий чёрт, бей! Что ж – бей? Старый демон!» Я спал, но, разбуженный их вознёй, вскочил с кровати и, всмотревшись, бросил в деда зажжённой лампой. Чуть не случился пожар, дед обжёг ноги и побил меня. Таких случаев было много, и я всегда играл в них активную роль, вследствие чего бабушка полюбила меня ещё более, а дед ещё более не влюбил. О матери за всё время её отсутствия я, кажется, и не вспоминал. В то время меня постепенно засасывала уличная жизнь и очень много времени отнимало учёные.

Теперь мы с дедом читали уже Иоанна Златоуста, кончив псалтирь и часослов. Сколько помню, всё это чтение не оставляло никаких следов ни в душе, ни в голове у меня.

Раз как-то дед хмуро и зло сказал мне:

– Завтра мать приедет. Они погорели там, всё имущество сгорело. Скажи, чтоб она отодрала тебя хорошенько.

Кажется, что я при этом сообщении ощутил в себе только любопытство и боязнь, чем и ограничилось во мне всё сыновнее. Раньше, до её второго замужества, я слышал от неё кое-что, убившее во мне всякие положительные чувства к ней. Я лежал в саду в своей яме, а она гуляла по дорожке недалеко от меня с своей подругой, женой одного офицера.

– Мой грех перед богом, – говорила она, – но Алексея я не могу любить. Разве не от него заразился холерой Максим

(мой отец) и не он связал меня теперь по рукам и по ногам? Не будь его – я бы жила! А с такой колодкой на ноге недалеко упрыгаешь!..

Сначала я не понял, потом мне стало грустно и больно, а когда на другой день, проснувшись, я пошёл поздравлять мать с добрым утром, то долго простоял перед её дверью, прежде чем войти. Идти к ней не хотелось. Войдя же, я не мог посмотреть ей прямо в глаза, ибо чувствовал себя виноватым во лжи перед ней – я не хотел целовать её руку и целовал, этот поцелуй должен был выражать моё уважение и любовь к ней как к матери, а я хорошо знаю, что тогда – уже не любил её. Впрочем, едва ли когда я любил её, а уважал, наверное, потому, что боялся.

– Женщинам, имеющим намерение наслаждаться жизнью, ничем не связывая себя, следует травить своих детей ещё во чреве, в первые моменты их существования, а то даже для женщины нечестно, сорвав с жизни цветы удовольствия, – отплатить ей за это.

Далее в рукописи Горький вычеркнул слова: «одним или двумя существами, подобными мне». – Ред.

Приехала мать. Она уж не та красавица, что год назад тому уехала в Москву.

У неё бледное лицо и в глазах что-то изумлённое и жалкое. Я рад ей почему-то. И она ласково улыбается мне, говоря, что я поздоровел и вырос. Дед говорит, что я упрямый разбойник. Но это неправда, и мы с бабушкой протестуем.



Мать снова молча улыбается мне. Вотчим сердит на что-то, он одиноко уселся в углу и не обращает ни на кого внимания. Я некоторое время надеюсь, что для меня что-то привезли, и мои надежды постигает горькая участь большинства людских надежд.

Затем мне рекомендуют убраться вон, я ухожу и слышу из сада сердитый говор, густой, грудной голос матери доминирует над всеми, и шум, такой живой и злой, раздаётся и на другой день, и на третий и т. д.

А спустя некоторое краткое время вотчим и мать уезжают в Сормово, и я снова остаюсь у деда. Мне хорошо, дед хвораёт, бабушка пьёт, и я целые дни делаю, что хочу. У меня не было тогда товарищей – я слишком в то время был неровен и раздражителен, чтоб пользоваться симпатиями. И потом меня почему-то боялись сверстники.

## С т о п!

Адель! Ты, которая всегда так дурно перетолковываешь всё, что я тебе ни скажу! Твой длинный нос, вытянутый тебе авторитетами и предубеждениями, привычками и предрассудками, – твой несчастный нос, рабски нюхающий суждения великих умов, – твой жалкий нос, за который тебя так часто водят разные шарлатаны, – этот феноменально тупой нос всегда при суждениях о ближнем чихает громко и резко

и почти никогда не чихнёт справедливо!

О Адель, Адель! Когда-то в моей чистой любви к тебе не было ни жалости, ни презрения, когда-то я, дурачок, полагал, что ты есть нечто самостоятельное не только в гадком и мелком, но и в прекрасном и великом – и ах, Адель, Адель! как мне было горько, когда я убедился, что ты не делаешь чести прекрасному и великому своим участием в нём.

Но, впрочем, это к делу не относится, Адель, – да, не относится, – я расправлюсь с тобой в другом месте!

Я отступил вот для чего, Адель: тебя, добродетельная и, наверное, коробит та откровенность, с которой я пишу и которую ты, наверное, уже нарекла не чем иным, как цинизмом, – чем я, в скобках, не огорчаюсь, зная, что ты, моя туподушная, смотря по настроению, называешь наглость – смелостью души и наоборот, искренность – рисовкой и наоборот, храбрость – безрассудством и наоборот, и т. д. У тебя, моя милая, терминов нет, и ты бедна умом, – ты, моя дорогая, несамостоятельна, несамостоятельна ты, моя Адель, и пусть Святой дух жизни и Здравый смысл простят тебе твои грешки, грехи и прегрешения, как я простил тебе их! – Так я говорю, ты, наверно, возмущена моим неуважением к святой тени моей матери, – но, Адель, откровенно и раз навсегда говорю тебе: я поклоняюсь уму, – для него же нет ничего святого, ибо он сам есть святая святых и сам бог!

И важны, Адель, не отцы и матери, важны люди, все люди, то есть ты, моя несчастная рабыня веяний.